



Qui ha d'ensenyar d'escriure a qui

Lev N. Tolstoi

Давно уже чтение сборника пословиц Снегирёва составляет для меня одно из любимых – не занятий, но наслаждений. На каждую пословицу мне представляются лица из народа и их столкновения в смысле пословицы. В числе неосуществимых мечтаний мне всегда представлялся ряд не то повестей, не то картин, написанных на пословицы. Один раз, прошлую зимой, я зачитался после обеда книгой Снегирёва и с книгой же пришёл в школу. Был класс русского языка.

Нука, напишите кто на пословицу, -сказал я.

Лучшие ученики –Федька, Сёмка и другие наострили уши.

-Кто на пословицу, что такое? Скажите нам? – посыпались вопросы.

Открылась пословица: ложкой кормит, стеблем глаз колет.

Вот, вообрази себе, сказал я, - что мужик взял к себе какогонибудь нищего, а потом, за своё добро, его попрекать стал, и выйдет к тому, что «ложкой кормит, стеблем глаз колет».

-Да её как напишешь? -сказал Федька, и все

другие, наострившие было уши, вдруг отшатнулись, убедившись, что это дело не по их силам, и прирнялись за свои, прежде начатые, работы.

Ты сам напиши, -сказал мне кто-то.

Все были заняты делом; я взял перо и чернильницу и стал писать.

-Ну, сказал я, -кто лучше напишет, и я с вами.

Я начал повесть, напечатанную в 4й книжке «Ясной Поляны», и написал первую страницу. Всякий непредубеждённый человек имеющий чувство художественности и народности, прочтя эту первую, писанную мною, и следующие страницы повести, писанные самими учениками, отличат эту страницу от других, как муху в молоке: так она фальшива, искусственна и написана таким плохим языком. Надо заметить ещё, что в первоначальном виде она была ещё уродливее и много исправлена благодаря указанию учеников.

Федька из-за своей тетрадки всё погладывал на меня и, встретившись со мной глазами, улыбаясь, подмигивал и говорил: «Пиши, пиши, я те задам.» Его, видимо, занимало, как большой тоже сочиняет. Кончив своё сочинение хуже и скорее обыкновенного, он влез на спинку моего кресла и стал читать из-за плеча. Я не мог уже продолжать; другие подошли к нам и я прочёл им вслух написанное. Им не понравилось, никто не похвалил. Мне было совестно, и, чтоб успокоить своё литературное самолюбие, я стал рассказывать им свой план последующего. По мере того, как я рассказывал, я увлекался, поправлялся, и они стали подсказывать мне: кто говорил, что старик этот будет колдун; кто говорил: нет, не надо, - он будет просто солдат; нет, лучше пускай он их обокрадёт; нет, это будет не к пословице, и т.п., говорили они.

Все были чрезвычайно заинтересованы. Для них, видимо, было ново и увлекательно присутствовать при процессе сочинительства и участвовать в нём. Суждения их были большею частью одинаковы и верны как в самой постройке повести, так и в самих подробностях и в характеристике лиц. Все почти принимали участие в сочинительстве; но, с самого начала, в особенности резко выделились положительный Сёмка с резкой художественностью описания и Федька –верностью поэтических представлений и в особенности пылкостью и поспешностью воображения. Требования их были до такой степени неслучайны и определённы, что не раз я начинал с ними спорить и должен был уступать. У меня крепко сидели в голове требования правильности постройки и верности отношения мысли пословицы к повести; у них, напротив, были только требования художественной правды. Я хотел, например, чтобы мужик, взявший в дом старика, сам бы раскаялся в своём добром деле, - они считали это невозможным и

создали сварливую бабу. Я говорил: мужику стало сначала жалко старика, а потом хлеба стало жалко. Федька отвечал, что это будет нескладно: «он с первого начала бабы не послушался и после уже не покорится.» - Да какой он по-твоему человек? -спросил я. «Он как дядя Тимофей, сказал Федька, улыбаясь, - так, борода реденькая, в церковь ходит, и пчёлы у него есть.» - Добрый, но упрямый? - сказал я. «Да, - сказал Федька, - уж он не станет бабы слушать.» С того места, как старика внесли в избу, началась одушевлённая работа. Тут, очевидно, они в первый раз почувствовали прелесть запечатления словом художественной подробности. В этом отношении в особенности отличался Сёмка: подробности самы верные сыпались одна за другою. Единственный упрёк, который можно было ему сделать, был тот, что подробности эти обрисовывали только минуту настоящего, без связи к общему чувству повести. Я не успевал записывать и только просил их подождать и не забывать сказанного. Сёмка, казалось, видел и описывал находящееся перед его глазами: заоченелые, замёрзлые лапти и грязь, которая стекала с них, когда они расстали, и сухари, в которые они превратились, когда баба бросила их в печку; Федька, напротив, видел только те подробности, которые вызвали в нём то чувство, с которым он смотрел на известное лицо. Федька видел снег, засыпавшийся старику за онучи, чувство сожаления, с которым мужик сказал: «Господи, как он шёл!» (Федька даже в лицах представил, как это сделал мужик, размахнувши руками и покачавши головою.) Он видел из лоскутьев собранную шинелишку и прорванную рубашку, изпод которой виднелось худое, смоченное растаявшим снегом, тело старика; он придумал бабу, которая ворчливо, по приказанию мужа, сняла с него лапти, и жалобный стон старика, сквозь зубы говорящего: тише, матушка, у меня тут раны. Сёмке нужны были преимущественно объективные образы: лапти, шинелишка, старик, баба, почти без связи между собою; Федьке нужно было вызвать чувство жалости, которым он сам был проникнут.

Он забегал вперёд, говорил о том, как будут кормить стрика, как он упадёт ночью, как потом будет в поле учить грамоте мальчика, так что я должен был просить его не торопиться и не забывать того, что он сказал. Глаза у него блестели почти слезами; чёрные, худенькие ручёнки судорожно корчились; он сердился на меня и беспрестанно понукал: написал, написал? - всё спрашивал он меня. Он деспотически-сердито обращался со всеми другими, ему хотелось говорить только одному, и не говорить, как рассказывают, а говорить, как пишут, то есть художественно запечатлеть словом образы чувства; он не позволял, например, перестанавливать слов, скажет «У меня на ногах раны», то уж не позволяет сказать: «У меня раны на ногах». Размягчённая и раздражённая его, в это время, душа чувством жалости, то есть любви, облекала всякий образ в художественную форму и отрицала всё, что не соответствовало идее вечной красоты и гармонии. Как только Сёмка увлекался высказыванием непропорциональных подробностей о ягнятах в коннике и т.п., Федька сердился и говорил: «Ну тебя, уж наладил!» Стоило мне только намекнуть о том, например, что делал мужик, как жена убежала к куму, и в воображении Федьки тотчас же возникала картина с ягнятами, бякающими в коннике, со вздохами старика и бредом мальчика Серёжи; стоило мне только намекнуть на картину искусственную и ложную, как он тотчас сердито говорил, что этого не надо. Я предложил, например, описать наружность мужика, - он не согласился; но на предложение описать то, что думал мужик, когда жена бегала к куму, ему тотчас же представился оборот мысли: «Эх, напалась бы ты на Савоську-покойника. Тот бы те космы-то повыдергал!» И он сказал это таким усталым и спокойно-привычным и вместе добродушным тоном, облокотив голову на руку, что ребята покатались со смеху. Главное свойство во всяком искусстве - чувство меры - было развито в нём необычайно.»

Traduit per Helena Vidal